



# Фигуры

Сара Мосс

# света

роман



Сара Мосс

## Фигуры света

© Анастасия Завозова, перевод, 2022

© Андрей Бондаренко, оформление, макет, 2022

© «Фантом Пресс», издание, 2022

*У нас есть клинические термины для тех,  
кто не в себе, но не для тех, от кого не  
по себе.*

**Р. Д. Лэнг, А. Эстерсон, «Безумие: семейные корни»  
(1964)**

# Глава 1

## **«Благовещение»**

Альфред Моберли, 1856

Холст, масло, 72 × 68,

Подписана, датирована '56

Провенанс: Джон Дэлби, Манчестер, после 1860; Джеймс Данн (арт-дилер, Лондон) 1872; сэр Фредерик Дорли, 1874; завещана Национальной галерее в 1918.

*Женщина сидит за столом. В лужице свечного света на зеленом сафьяне отчетливо видна правая рука с зажатым в ней пером. Тисненая золотая кромка рассекает свет, будто тропинка – лесную поляну, и Моберли изобразил блики пламени на серебряной чернильнице и на ее лице. На руке нет колец, ничего не блестит на шее, где серый воротник скрадывает бледную кожу, впадинку между ключицами. Платье – это отсутствие самого света, хотя обычно Моберли любовно выписывал одежду, цвета и фактуру тканей, кожи. Волосы женщины сливаются с обступающей ее темнотой, прически не разглядеть. Она смотрит куда-то вверх, в сторону белой стены позади стола; судя по выражению лица, в дверь только что постучали. Наверное, какая-нибудь горничная зашла с банальным вопросом насчет стирки или ужина, хотя на самом деле единственная ее служанка уже давно должна спать. Из писем Элизабет Сандерсон Моберли мы знаем, что она ратовала за ранний отход ко сну – по крайней мере, когда речь шла о других людях. Моберли поймал выражение лица, не успевшее смениться вежливостью, миг до того, как она, сказав: «Войдите», приняла любезный вид. Кем бы ни был вошедший, создается впечатление, что мадонна ему не рада.*

*Любой на его месте, потом говорил он Джеймсу Стриту, любой художник, хоть прошлых времен, хоть ныне живущий, изобразил бы*

*ангела. Но Моберли интересовали не призраки, а пробелы, следы отсутствия. Фантомы, тени, отголоски; настоящие истории, твердил он, начинаются после того, как все случилось. Он так и не сознался в том, что выявил недавний анализ холста: что начал рисовать Гавриила – охваченный пламенем, неземной образ – и затем передумал. Стрит вспоминает, как тот однажды писал «Благовещение» после какой-то пирушки, при свечах, чертыхаясь в темной студии, вздымавшейся над ним церковным сводом. Обычно он работал по утрам, предпочитая встать пораньше.*

\* \* \*

– Элизабет в гостиной, – говорит ему Мэри. – Мама снова вызвала ее на пару слов.

Она убегает, перескакивая с красной плитки на красную, стараясь не наступать на синие, оставив входную дверь нараспашку. В другом конце коридора открыта дверь в сад; когда он вешает шляпу, сквозняк ворошит лежащие на подносе письма, и входная дверь захлопывается. Ему это нравится – как дышат дома, как движутся в них вещи. Слева отворяется дверь, из-за нее выглядывает Элизабет. Он не может сдержать улыбки. Женщины нынче не могут высунуться из-за двери, не могут проскользнуть в комнату. Его друг Уильям уверяет, что летом его сестры сплющивали друг дружке кринолины, чтобы протиснуться к себе в спальни, что они больше не могут прилечь на кушетку после обеда – иначе их юбки будут глядеть в потолок. Он живо воображает себе младшую сестру Уилла, Луизу, в этом положении, вид снизу.

– Это ты, – говорит Элизабет.

Привстав на цыпочки, она легонько задевает его щеку своей. Отстраняется, и он берет ее за руки, любуясь кольцом ее волос, округлостью груди под палево-голубым платьем в мелкий цветочек. От нее пахнет лавандой и свежевыглаженным бельем. Она вся его.

– Это Альфред? – кричит миссис Сандерсон.

– Я только покажу ему розы, мама.

Она увлекает его за собой, в сад, и, оказавшись под ярким солнцем, он по-совиному моргает. Он пришел пешком, прямым из конторы, и ему было хорошо в коридоре, где пол выложен плиткой и веерное окно в двери затенено широким крылечным козырьком и где поэтому всегда прохладно. Струйка пота снова бежит по спине.

— Я сейчас принесу тебе попить, — говорит она. — Мэри делает какую-то, как она говорит, лимонную воду. Мама рассердилась, она всю мяту оборвала. — Она стоит перед ним, ее тень — камешек на колышущейся траве. Она трогает его за рукав. — Вы обо всем договорились? Он наш?

Он водит пальцем по тыльной стороне ее ладони, рисует завитушки, еле касаясь кожи. По ее плечам пробегает дрожь. Хорошо.

— Завтра подпишу все документы. Ты не передумала?

Она взглядом велит ему не говорить глупостей.

— Ты ведь понимаешь, что там будет пусто? Совсем не так, как в этом доме.

Она оборачивается, берет его под руку, и вместе они идут в тень, под ивы, ее юбка цепляется за его штанину.

— Мне хочется простора, — говорит она. — Не хочется много вещей. Хочется пройтись по комнате, ни на что не натыкаясь. И никаких штор. И ковров. Пусть будет просто голый пол.

— согласишься ли ты на кровать? — Он обнимает ее за талию. Их тени сливаются, исчезают в тени листьев ивы. — На стол? Или спать и есть мы тоже будем на голом полу?

Она отталкивает его руку.

— Я ведь говорила, что письменный стол отдала мне бабушка. И старую кровать. Смастери нам обеденный стол. Время у тебя есть. — Она взглядывает на него, что-то прикидывая в уме. — И я решила насчет медового месяца. Мне бы хотелось поехать к твоей кухне в Уэльс.

Он кивает, ему хочется присесть, дать отдых ногам. Она права насчет Уэльса, он знает, если они поедут к ее дяде в Кембридж, то

вскоре он все время будет проводить с Хенли, а не с ней. Они еще увидятся с Хенли. И она ошибается, у него нет времени на то, чтобы мастерить им стол, но он все равно его сделает, для нее, для них обоих, для их дома. Столы и кровати, думает он, еда и случка: жизнь.

\* \* \*

Господи, даруй мне покаяние всецелое во всех моих прегрешениях, также и в тех, что не вижу я по слепоте моей. Открой мне волю Твою и помоги исполнять все, как Тебе угодно. И прошу Тебя, Господи, пусть через меня и Альфред придет к свету, чтобы мы, осененные Твоей милостью и добродетелью, вошли рука об руку в Царствие Твое, когда пробьет наш час. Аминь. Она поднимается с колен, встает на ноги одним резким движением. Господь рядом, Его присутствие ложится ей на плечи, будто нагретая у очага шаль. Она подходит к окну, отдергивает штору. От дыхания летней ночи дрожит огонек свечи, тени скачут по гобеленовым обоям. На западе, за ивой, еще светло. Шелестит высокий, вровень с домом, вяз, его листья чернеют в нерешительной темноте городского неба. С дороги доносится перестук лошадиных копыт, громыханье колес — никто никуда не спешит. В новом доме, думает она, наверное, не будет слышно уличного шума. Там будут два бука, все, что осталось от леса, на месте которого выстроили новые дома. Они посадят фруктовые деревья, мама всегда говорит, что глупо выращивать цветы и тратить на фрукты с овощами. Яблони, шафранный пепин, который тут растет за каретником, и еще айву, потому что Альфреду понравилось варенье, которое она варила из нее в прошлом году. Сливы. Мэри потом поможет их собирать. Она кусает губу. Днем она стойко переносит мысли о расставании с Мэри, иногда даже радуется им. Не стоит пускать землю в огороде под лук и картофель, их круглый год можно задешево купить в любой лавке, а вот салат и горошек она высадит. Нужен ли для огурцов парник? Что ж, думает она, а почему бы мне, почему бы миссис Альфред Моберли, и не обзавестись парником, если ей вздумается? Она отпускает штору,

собирается с духом, ложится в постель. Простыни ледяные. Бабушкин стол она поставит в маленькой спальне. Если женщина сидит в гостиной, говорит мама, всем кажется, будто она только и ждет, когда ее отвлекут от дел. Чтобы поработать, иди наверх да запри дверь. (Мама и сама поставила письменный стол у себя в спальне; только у папы, говорит она, хватает духу там появляться, но после двадцати пяти лет брака он знает, что этого лучше не делать.) Альфред не хочет показывать ей эскизы нового полога для бабушкиной кровати. Пусть будет сюрприз, говорит он, в честь первой ночи в доме, и, улыбаясь, поднимает брови. Она отводит взгляд. Об этом мама тоже с ней говорила.

\* \* \*

Ее новое платье – свадебное, как поясняет Мэри, с упоением раздражая маму, – галечно-серое, сшитое из отреза шелка, который Альфред подарил ей на Рождество. Ты не хочешь ничего гладкого, сказал он, ничего блестящего, но, быть может, сделаешь исключение для шелка? Спряденного червями в китайских горах. Он показал ей набросок придуманного им платья, и она с удивлением вскинула на него глаза. Он любит рисовать женщин среди драпировок и складок, разглядывать их, конечно, интересно, но это наряды не для церкви или работы. Она боялась, что крой окажется непрактичным, ткань – недолговечной. Но он к ней пригляделся, подумал о том, как она себя видит. Платье такое же, как и все остальные ее платья, скроено как одежда работающих женщин – чтобы юбка не стояла колоколом, чтобы подол был выше сточных канав и гниющих навозных куч, через которые ей приходится перешагивать там, куда заводит ее работа. Неразумно, говорит она, когда одежда волочится по земле, даже дома, и у слуг от этого только прибавляется бессмысленного труда. Что толку заматывать одну маленькую женщину в материю, которой хватило бы на целый взвод солдатских палаток, да и жарко ведь. Поэтому платье простое, аккуратное, и от нынешних мод в нем остался только приталенный лиф клинышком,



складки на корсаже и широкие, ниспадающие рукава. («Я ими буду еду зачерпывать, — сказала она. — Маме такие рукава не понравятся». «Зато они нравятся мне, — сказал он, — и это я буду видеть тебя каждый день».) И по краю подола, по кромке треугольных «ангельских» рукавов и целомудренного выреза распускаются, змеятся вышитые фрукты, цветы и листья, бутоны, усики и пышные лепестки, виноград, клубника и круглые корончатые плоды, которые зовутся гранатами. Вышивка тоже будет серой, сказал он. Ничего вычурного, никаких контрастов. Когда платье будет готово, сказал он, отошли его мне, а я отдам его в одну мастерскую вместе с законченными эскизами. А когда мы поженимся, ты будешь мне позировать и я тебя в нем нарисую.

К то-то — Мэри — разложил платье на кровати, пока она принимала ванну. Она сбрасывает халат, находит в комодке чистые панталоны, сорочку, тонкие чулки, которые вчера подарил ей папа («маме об этом можно не говорить»), корсет, накорсетник, нижнюю юбку. Черные туфли совсем не подходят к платью, досадно. Нет, такие мысли недостойны ее внимания. Она встряхивает головой — мокрые волосы липнут к спине — и надевает первый слой одежды.

— Мэри, — зовет она, — Мэри, теперь ты можешь мне помочь. Он знает, что невесте полагается опаздывать, таков обычай, но Элизабет вряд ли опоздает, думает он, да и миссис Сандерсон не допустит никакого жеманства. Они с Эдмундом приехали рано и сидят на скамьях для певчих, чтобы видеть, кто входит в церковь. Конечно, он знал, что Элизабет пригласила женщин из своего Общества благоденствия. Она даже спросила его об этом. Хотела его испытать, проверить. Да, ответил он, среди них больше истинных христиан, чем среди моих друзей. И не сказал, что для дружбы с ним вовсе не обязательно быть христианином. Со временем, думает он, когда она больше узнает о его мире, ее кругозор станет шире родительского. Он покажет ей радость, красоту: северный свет, падающий сквозь высокие окна на белые мраморные фигуры, дуэт голосов, берущий здание оперы наскоком, будто волны — берег, свечи и красное вино

в бокалах – удовольствия, которых она была лишена всю жизнь, и в лучах его знаний она распустится как цветок. Женщины из Общества тоже пришли рано, замельтешили дети, грязные ботинки, набитые сумки. Ходили за покупками, это в воскресенье-то? (У них нет других дней для этого, мысленно слышит он ответ Элизабет, они по шесть дней в неделю проводят на фабриках, и да, лавочники, к которым они ходят, торгуют и должны торговать в День Господень. Беднякам, Альфред, отдыхать некогда.) Женщины рассаживаются, будто птицы на лугу, беспокойно, выглядывая хищников. Это не их привычная среда обитания. Плачет младенец, мяуканье новорожденного, мать вытаскивает грудь и кормит его. В церкви. Он задумывается, и уже не впервые, была ли у Леонардо да Винчи модель, кормившая грудью, и не согласится ли заметно беременная и, насколько ему известно, незамужняя Шарлотта позировать ему вместе с ребенком. Младенец будет молчать, пока сосет грудь, думает он. И конечно, со временем у него появятся собственные... Эдмунд толкает его локтем. Его родители усаживаются на свои места, и Сандерсоны стоят в дверях.

\* \* \*

Проход между рядами скамей кажется ей длиннее обычного, длиннее, чем вчера, когда она заглянула в церковь на минутку – собраться с мыслями. Витражное окно – крест пред зелеными холмами, ловцы человеков над синим морем – сияет на западной стене. В желтом солнечном свете мерцают ленты пылинок под алтарными окнами. Алтарь украшен лилиями. Люди оборачиваются. Здесь только женщины из клуба<sup>[1]</sup>, мама с Мэри и родители Альфреда. Все, кто уже и так много раз ее видел. В серых лайковых перчатках потеют руки. Шпилька давит на кожу за ухом, и шею щекочет прядка волос, которой там быть не должно.

– Все хорошо? – тихонько спрашивает папа.

А если нет, думает она, если нет? Она берет его под руку, забывает, что другую руку, в которой она держит букет белых роз,

надо поднять. Альфред стоит на самой верхней ступеньке у алтаря, лицом к прихожанам, будто священник. Она поднимает голову и идет к нему.

Все будет хорошо. Она об этом позаботится.

\* \* \*

Ей не впервые, напоминает она ему, путешествовать поездом. Они с мамой ездили в Ливерпуль послушать миссис Хеншоу, которая рассказывала о своей работе, и несколько раз – три раза – папа брал ее с собой, когда ездил к члену правления в Олтрингем. И все равно, думает он, глядя на ее плечи под пелериной, на то, как она задирает голову, словно пытаюсь учуять какой-то слабый запах, ей не по себе. Она, наверное, читала в газетах о том, что именно на этом направлении пассажиров уже несколько раз грабили, но, учитывая то, где она ходит почти каждый день и зачастую одна, он сомневается, что она боится преступников. Тогда чего же? Он вздыхает, придерживает для нее дверцу купе, протягивает руку, чтобы помочь подняться на ступеньку. Она обеими руками приподнимает юбки, и он видит кружевные вставки у нее на чулках. У молодой женщины найдется немало поводов для уныния в первое утро свадебного путешествия.

– Ты сидишь против движения, – говорит он ей.

Она не отводит взгляда от окна.

– А может, я хочу видеть, откуда уезжаю.

– И не смотреть, куда едешь? Не самое обнадеживающее начало, Элизабет.

Она отворачивается от окна, взглядывает себе под ноги и снова принимается наблюдать за носильщиками, которые грузят чемоданы в тележку, за одетой в розовый шелк дамой под вуалью, оживленно говорящей что-то мужчине, который слушает ее слишком внимательно, чтобы приходиться ей мужем.

– Ну конечно. Жене полагается обнадеживать мужа. Прошу прощения.

Он сидит напротив нее и со своего места заметит первые проблески моря, а когда пути будут изгибаться, увидит паровоз – радости, о которых он еще даже толком не думал.

– Ты сердисься на меня, – неуверенно говорит он.

– Альфред, даже в браке я не стану думать только о тебе. Я уезжаю из дома, разумеется, это сказывается на моем настроении. Неужели ты не взял с собой газету?

Газету он взял, сомневаясь, правда, уместно ли читать сегодня, в первый день, который они проведут одни, вместе. Он вытаскивает газету из саквояжа, разворачивает ее перед собой как ширму, принимается за чтение. Он перестал следить за тем, что происходит в Италии, а после вчерашнего разговора с отцом он опасается, что все-таки есть темы, о которых человеку просвещенному, похоже, полагается иметь мнение. Элизабет – которая теперь не отрывает взгляда от двух маленьких мальчиков, гоняющих по платформе мяч из скомканной газеты, – кажется, как раз такой человек. Правой рукой она нащупывает сквозь перчатку кольцо на левой руке и начинает пошатывать его, будто больной зуб.

– Можем отдать в переделку, – говорит он. – Если тебе неудобно.

Она вопросительно на него взглядывает.

– Кольцо, – уточняет он.

– Не нужно.

Правая ладонь Элизабет смыкается над левой, так обычно берут за руку вертлявого ребенка, чтобы перевести его через дорогу. Это как с милостыней, думает он, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая. Что-то в этом духе. Он откладывает газету, вытаскивает альбом и начинает зарисовывать ее руки.

\* \* \*

Звучит свист, поезд рывком трогается. Карандаш подпрыгивает, Альфред чертыхается. В ее клуб женщин допускают только при условии, что они не будут сквернословить, – неважно, что они себе

позволяют в других местах. Станционные плиты за окном начинают бежать быстрее. Она еще видит двух мальчишек, которым, как сказала бы мама, куда полезнее было бы поучиться какому-нибудь ремеслу. Мэри сказала, что хочет помочь Беатрис в клубе на этой неделе, и мама согласилась, пусть помогает, самое время ей увидеть, в каком мире она живет. Мэри, сказала мама, заметив ее восторги по поводу вышитого платья Элизабет, в последнее время слишком много думает о всяких безделушках, к четырнадцати годам пора бы это уже перерасти. Вокзальные часы на другом конце платформы становятся все меньше. Сегодня понедельник, мама поедет в Сэлфорд, в новую школу, чтобы потом написать еженедельный отчет учредителям. Журнал наказаний вызывает беспокойство, кажется, мисс Хелстон не поняла, что в отношении телесных наказаний у комитета очень твердая позиция. Насилие, говорит мама, учит только насилию, порывы своих страстей нужно обуздывать самим, а не полагаться в этом на других. Мост возносит поезд над позорными жилищами Хьюма. Под мостом спят люди, и не только пьяницы и уличные женщины, но и дети, которым больше некуда податься. Всего несколько ночей под этими сводами, и их детство закончится. Она вспоминает, как мама учила ее владеть собой. Сейчас, Элизабет, я повяжу тебе на руку ленту, чтобы ты, глядя на нее, вспоминала о своем проступке и знала, что я о нем тоже помню. Если свою службу она сослужит, то в воскресенье мы ее снимем. Знаешь что, Мэри, перед тем как выйти из дому, положи-ка вот этот камешек в ботинок и зашнуруй покрепче, чтобы каждый твой шаг напоминал тебе о том, как ты нас разочаровала. Мама собирает камешки в парке, складывает их в стоящую на столике у двери корзину, которую сплел кто-то из ее подопечных. Право же, мама, говорит Мэри, так ты и власяницы велишь нам носить. Может, тебе станет легче, если ты попросту надерешь мне уши? И стоит маме отвлечься, как Мэри снимает ботинок, прямо на улице, и вытаскивает камешек. Мэри уже знает, что камешек надо сберечь, а вернувшись домой, притвориться, что он все время был у нее в ботинке; мамины методы

не сказать чтобы жестокие, но она верит в целительную силу боли. Элизабет опасается, что в подобных случаях ей будет недоставать маминых наставлений. Нужно как можно строже следить за собой, строже обычного.

Она скрещивает ноги. Альфред, не спросив разрешения, рисует ее. Нужно чем-то заняться – шитьем, чтением или написать письмо. Мама дала ей новую книгу миссис Хеншоу, о женщинах и труде, чтобы она с пользой провела время в поездке. Они уже на окраине города, и небо светлеет. Вдали виднеются холмы, и она мысленно представляет себе школьный атлас. Вот хребет Англии, вздымается над Трентом и сбегает к Клайду. Она никогда не бродила по холмам, не бывала в Шотландии и, до сей поры, в Уэльсе. В рощице ерзают на ветках листья. Он, думается ей, не лицо ее рисует. Руки так и мелькают, для такого крупного мужчины у него очень тонкие пальцы. Она вспоминает тяжесть его тела в темноте, в гостиничном номере с непривычными формами и очертаниями, с накрахмаленными простынями, оказавшимися грубее домашних. Надеюсь, мадам, вы выпались, ухмыляясь, сказала горничная, которая принесла им утром чай. Надеюсь, вы тоже, с улыбкой ответила она, сидя в наглухо застегнутом пеньюаре. Как будто не могла, если б захотела, отпустить шуточку повульгарнее тех, что этой девушке приходилось слышать в людской. Она знала, чего ожидать, и реальность удивила ее разве что своей буквальностью. Он действительно засунул это туда. И он сделает это снова.

– Альфред, – говорит она, – ты слышал историю о девушке, которая в брачную ночь, оставив мужа в гостиной, поднялась в спальню и усыпила себя хлороформом? И оставила на подушке записку: «Мама сказала, можете делать все что вам угодно».

Карандаш зависает над бумагой.

– И это не слишком-то обнадеживает. – Он взглядывает на нее. – Тебе хотелось бы, чтобы и твоя мама снабдила тебя хлороформом?

Теперь они едут через поля, по чеширской пологости.

– Нет, и ты это прекрасно знаешь.  
Карандаш снова приходит в движение.

\* \* \*

Когда он замечает огни Пеннард-Хауса, уже давно стемнело. Вокруг чернеющие в летней ночи изгороди и кокосовый запах дрока, которым их обдает всякий раз, когда колеса повозки соскальзывают на обочину. Он даже решился приобнять ее, и хотя она по-прежнему сидит вытянувшись в струнку и все толчки и кочки отзываются в ее теле так, словно оно на шарнирах, она его не оттолкнула.

Она снимает капюшон.

– Нас кто-то дожидается.

– Миссис Брант. Экономка. Будет чай и бара брит<sup>[2]</sup>.

Она оборачивается к огням на холме:

– В доме много прислуги?

К слугам она не привыкла. Миссис Сандерсон держит кухарку и всего одну горничную, полагая, что здоровому взрослому человеку ничто не мешает самостоятельно одеться и развести огонь в камине. Оно и к лучшему – учитывая его доходы.

– Никто не зайдет к тебе в спальню, пока ты сама из нее не выйдешь. Тут все живут по-деревенски. И еда здесь деревенская тоже.

По утрам – свежие яйца, а, может, еще и бекон с фермы. Домашний хлеб и только что сбитое масло. Он надеется, что после медового месяца Элизабет будет управляться с хозяйством получше, чем это делал он, пока жил холостяком.

– Есть мне хочется, – признается она.

\* \* \*

Он мнетя возле двери, соединяющей их комнаты. Все-таки в гардеробной стоит односпальная кровать, да еще разостланная,

словно бы миссис Брант думает, что ночевать он будет здесь. Уже поздно. Элизабет устала. Он прижимает ухо к замочной скважине. Какая нелепость, говорит он сам себе, ты ведешь себя нелепо. Слышно, как льется вода, тяжелый кувшин со стуком ставят на мраморный умывальник. Струйки с дребезжанием стекают обратно в таз. Она умывается. Она уже надела ночную рубашку. Он постучит.

— Альфред? — говорит она. Пауза, шлепанье босых ног по половицам. Дверь открывается. — Я и не знала, что мужья стучат.

Он пожимает плечами.

— Ну вот, я стучу. Я думал, ты...

Он оглядывает ее с ног до головы. Босые ноги, с плеч сползает белая льняная рубаха, больше напоминающая саван, чем ночную сорочку новобрачной. Распущенные волосы, бледное и влажное лицо. Она очень похожа на темпл-смитовского Лазаря, только без бороды.

— Входи же, — говорит она. — Мы ведь теперь женаты.

\* \* \*

Бекон и вправду есть, и миссис Брант в фартуке стоит у чугунной плиты, которая тянется вдоль всей кухни.

— Доброе утро, — говорит она. — Выспались? Будете завтракать? А что миссис Моберли?

Она взглядывает в сторону лестницы.

Он усаживается за выскобленный сосновый стол, древесное зерно под его пальцами кажется теплым, как кожа, как женские бедра. Кузина Фрэнсис, думает он, наверняка давным-давно встала. «Я вам обоим буду очень рада, — написала она, — и знаю, что вы меня простите, если я, как и прежде, буду заниматься своими делами. Вам с миссис Моберли, конечно, захочется гулять и рисовать, а я потом с удовольствием послушаю обо всех ваших приключениях. В июне у меня столько работы в саду».

— Жена скоро спустится, — говорит он.

Румянец заливает лицо до ушей.



Миссис Брант подмигивает:

– Вы это впервые сказали?

– Я и не думал, что это прозвучит так странно.

Мысленно он уже примеривался к этому. Моя жена.

– Эдвард, позволь мне представить миссис Моберли. Не его мать.

Она ставит перед ним чайник.

– Привыкнете.

Она возвращается к бекону, берет из миски на столе яйцо, разбивает его в сковороду. И еще одно. Из-за ее спины ничего не видно, но он слышит, как потрескивает раскаленный жир. Она, наверное, вспоминает собственную свадьбу, когда впервые услышала, как мистер Брант – который, думает он, уж сколько лет покойник – назвал ее «женой».

– И скоро?

– Быстрее, чем вы думаете. – Она приподнимает краешек яичницы деревянной лопаткой, опускает обратно на сковороду. – Люди ко всему привыкают, вот что удивительно. Даже к вой не, как говаривал мой муж. Мне, правда, всегда казалось, что к младенцам привыкаешь до странного долго. И к тому, что кто-то умер. Тут уж годами удивляться можно. Жена ваша тоже яичницу будет, не знаете?

– Не знаю, – отвечает он. – Мы с ней завтракали только однажды.

\* \* \*

Теперь она понимает, почему о свежих яйцах в Манчестере говорят так, будто это упавшие с неба звезды. Чревоугодие, и ничего более, говорит мама, когда тут же, рядом, живут семьи, которые уже лет пять не ели вообще никаких яиц. Желтки темно-оранжевые, почти красные, зажаренные на беконе белки похрустывают. Она вытирает тарелку наколотым на вилку кусочком хлеба с зернами овса на корочке и какими-то семечками в мякише.

— Это твоя кухня там, в саду? — спрашивает она. — В ситцевом платье и соломенном капоре?

Такие капоры в последний раз видели в городе, когда мама была еще девочкой.

— Фрэнсис очень любит свой сад. Если ты закончила, можем к ней выйти.

Она провела несколько вечеров с его родителями и знает, что они ее одобряют. Не мотовка. Спокойная, благовоспитанная, а ведь сплошь и рядом только и говорят о том, на какие немыслимые союзы осмеливаются молодые художники. С ней он остепенится. Они боялись, наверное, что он женится на какой-нибудь своей натурщице. Но хватит ли одной респектабельности, чтобы заслужить одобрение кухни Фрэнсис? Элизабет оправляет юбку. По крайней мере, кухня Фрэнсис — мисс Моберли? — одета очень просто.

Снаружи холоднее, чем она думала, ветер яростно тянет ее за юбку, зато между небом и деревьями виднеется море. Белые волны вскидываются, обрушиваются в синеву, плывет корабль с башенкой белых парусов, похожих на развешанные для просушки листки бумаги.

— Прогуляемся потом к берегу? — спрашивает она.

Море она, конечно, видела и до этого. В Ливерпуле и еще, однажды в детстве, в Моркаме, с папой, хотя и помнит только, что был сильный отлив и от этого сам океан казался очередной выдумкой взрослых, вроде того, что Земля вертится вокруг Солнца, а облака сделаны из воды.

— Можешь взять с собой краски, — предлагает она.

Тогда он сможет сесть где-нибудь и заниматься своими делами.

— Но мне хочется пройтись с тобой, — говорит он. — Миссис Брант, конечно же, соберет нам ланч.

Кухня Фрэнсис не слышит их шагов по траве. Он кашляет, затем касается ее руки.

— Альфред! — Она старше, чем думала Элизабет, под капором виднеются седые пряди, но стоит она совсем не горбясь и рыхлитель

держит высоко, как иная старуха, бывает, держит веретено. — А вы, стало быть, Элизабет. Добро пожаловать, дорогая.

Она целует Альфреда в щеку, пожимает холодную руку Элизабет.

— Ну и как вам замужняя жизнь?

Я теперь никогда не бываю одна, думает Элизабет, и пока что мне совершенно нечего делать.

— Мы очень признательны вам за приглашение, — говорит она. — Я впервые в Уэльсе.

Кузина Фрэнсис похлопывает ее по руке.

— Надеюсь, воспоминания у вас останутся самые счастливые.

\* \* \*

Они спускаются к морю по тенистой тропинке, и деревья у них над головами смыкаются в тоннель из яркой листвы. Альфред указывает на растущие вдоль обочины колокольчики и медвежий лук, замечает фиалки, спрятавшиеся в кустах ежевики. Дрок щетинится желтыми цветами и темными лезвиями шипов, издает непривычный аромат. Слышится птичье пение, но самих птиц не видно, словно бы это поет сам день. А в Манчестере коричневое марево и жара. Дома Мэри, наверное, сидит в саду, читает под ивой, и разглядеть ее за плакучими ветвями можно, только если подойти совсем близко. Мама заперлась у себя в комнате. На обед будет вареное мясо с картошкой, и запах еды потом еще долго будет висеть в воздухе. Тропинка делает поворот, и перед ними море. Плоские камни на берегу кажутся продолжением дороги и исчезают в воде, словно бы приглашая ее не останавливаться, уходить дальше, в море. В волнах вспыхивает солнце. Песок покрыт серой и розовой галькой, будто веснушками. Линия прилива исчеркана бурыми водорослями. Она подхватывает юбки и пускается бегом, вскакивает на нагретые солнцем камни, у ее ног плещется вода. Он ставит наземь корзинку с ланчем, смотрит на нее — как развеваются на ветру ленты ее шляпы и хлопают юбки, как она с улыбкой глядит на небо. Она оборачивается и замечает, что за ней наблюдают.

– Иди сюда, – кричит она. – Мы ведь женаты, значит, ноги помочить можем, правда?

Он подходит к ней, берет за руку.

– Мы можем даже искупаться, если захотим. Мы ведь женаты.

Они находят теплый плоский камень, залезают на него, усаживаются. Она открывает корзинку с ланчем; неудивительно, что она такая тяжелая. Там, в белой эмалированной посудине с голубой каемкой, лежат пирог с выпеченными на корке глянцевыми листочками, головка салата и голубой бумажный кулечек – наверное, с солью. Две бутылки пива – она еще ни разу не пила пива, мама не одобряет – и фрукты, похожие на желтые сливы, но с теплой ворсистой кожицей, от которых ей хочется отдернуть руку, словно бы от чего-то живого, и опять бара брит, хлеб с изюмом, намазанные маслом, сложенные вдвое куски. Пара тарелок, пара ножей, пара вилок, пара салфеток. Столовые приборы, которые свело вместе ее замужество. Право же, глаза режет, когда сидишь на солнце. Альфред ложится на спину.

– Прилив начинается, – говорит он.

Чтобы выложить пирог, нужна ложка, а ложек нет.

Она поддевает корку ножом.

– Это важно?

Он поднимает голову.

– Конечно, важно. Мы с тобой ниже границы прилива. Вода поднимется дальше нашего камня, и мы застрянем здесь на двенадцать часов, пока она снова не схлынет.

Он опускает голову, вытягивает руки, задевает ладонью ее спину. Они где-то в десяти футах от границы прилива.

– Или нам снова придется намочить ноги.

– Или мы можем остаться здесь, есть абрикосы и любоваться морским светом. Можешь декламировать стихи, пока я буду тебя рисовать.

Мясная начинка с крапинками зелени вываливается из пирога, когда она пытается переложить кусок ему на тарелку.

— Я ничего не смогу продекламировать. Мама говорит, зубрежка — главный враг женского образования. То есть я могу повторить склонения немецких существительных. Или проспрягать французские глаголы. Хоть все до единого. Но меня никогда не заставляли заучивать имена всех монархов в хронологическом порядке, и мама никогда не покупала всякие эти дамские поэтические хрестоматии. Она говорит, поэзию можно читать, можно не читать, но не стоит рубить ее на куски на потворство неразвитому интеллекту.

Он солит лист салата. Она кладет себе кусок пирога, поменьше, чем ему. Мама считает, что все мучное вредно.

— И ты с ней согласна? — спрашивает он.

Она отрывает себе немного салата.

— Да.

\* \* \*

Ночью она просыпается. В комнате нет часов, да, сказать по правде, и не нужны они, поэтому миссис Брант с кузиной Фрэнсис как будто бы даже и не заметили, что она вчера проспала. Наверное, захоти она, и смогла бы всю жизнь спать до восьми и завтракать яичницей с беконом. От одной мысли по телу пробегает дрожь. Стараясь не слишком дергать одеяло, она переворачивается на другой бок, вытягивает ноги. Слышится вздох Альфреда, затем снова его ровное дыхание. Лунный свет пробирается под мятые занавески из набивного ситца со слишком тяжелым для такого материала подбоем, в зазор между ними. В доме тихо так, как дома никогда не было, это тишина старых каменных стен и темных полей, что тянутся до самого моря. Она пытается представить, как выглядит море в темноте. Поворачивает голову. От волос Альфреда пахнет помадой, от его ночной сорочки — хозяйственным мылом, не таким, как у нее. Со временем, думает она, когда у них будут общая кровать, общая прачка, общее мыло, они будут пахнуть одинаково. Мистер и миссис Моберли. Сзади на шее волосы у него растут так же густо, как и на

груди; она и не знала, и мама ничего ей не сказала о том, что мужчины с головы до ног покрыты волосами, как обезьяны.

Ей хочется подойти к окну, поглядеть на деревья, на небо. Вечером они слышали сов, они никогда не видела сову. У нее чешется нога, и Альфред, похоже, притащил в кровать песок с берега. Теперь она еще долго не будет спать одна.

Альфред сделал новый полог для бабушкиной кровати. Спрашивал: цветы и плоды, цветы и птицы? Придумывал узор для обоев с пчелами и цветущей жимолостью. А нельзя ли, чтобы они были без узоров, спросила она, белые или палевые, чтобы заметнее были резные опоры для полога? Ах ты квакерша, сказал он, у жены художника – и такой вкус! Скажи-ка, Элизабет, картины на стенах должны тоже быть безо всяких рисунков, чтобы рамы были заметнее? Новый полог, говорит он, будет для нее сюрпризом, когда они приедут домой. К ним домой. Сейчас там красят стены, оклеивают их обоями. В каких-то комнатах почти не будет мебели, как ей и хочется, – до тех пор, пока они не смогут позволить себе правильные материалы, но ему важно, чтобы гостиная и столовая были обставлены, чтобы было где принимать будущих клиентов. Они ведь еще и поэтому купили дом, говорит он. Она не стала ему напоминать, что дом купил папа. Он, конечно же, ждет, что она станет давать обеды для всех этих людей, играть роль хозяйки. Он подарил ей книгу по домоводству, словно считает, что маминих наставлений будет недостаточно.

– Элизабет, – шепчет он.

– Ш-ш-ш. Еще ночь. – Она легонько поглаживает его, как когда-то, давным-давно, спавшую вместе с ней Мэри, которую мучили кошмары.

– Знаю. Ты не спишь.

– Я проснулась от лунного света, – говорит она.

Его лучи теперь клонятся в другую сторону, тянутся по черным половицам к петельчатой кромке умывальника.

Он садится в кровати. Волосы взъерошены, на левой щеке отпечаток смявшейся наволочки.

— Хочешь выйти? Посмотреть на луну как следует?

Хочет ли она?

— Что, прямо в ночных сорочках? Альфред, что скажет кузина Фрэнсис? И миссис Брант, разве она не здесь ночует?

— Нет. — Он откидывает одеяло. При виде его торчащих из-под сорочки ног она снова думает об обезьянах, об обезьянах в белом ситце. — Не удивлюсь, если кузина Фрэнсис сама сейчас в саду, разговаривает с розами, что-нибудь в этом роде.

Он отдергивает занавеску.

— Великолепие. Ты только посмотри. Идем!

Она отводит взгляд, когда он надевает брюки, натягивает одеяло до самой шеи. Мама настояла на том, чтобы из свадебных обетов убрали ее клятву во всем покоряться мужу. Тебе нужно быть свободной, чтобы делать то, что должно, сказала мама Элизабет, а мы с тобой знаем, что Альфред не сможет, по крайней мере поначалу, наставлять тебя в делах духовных. Это тебе надо привести его к Богу. Но свобода эта дана ей вместе с обязанностью не идти на поводу у собственного упрямства и своеволия. Слушайся мужа, когда речь идет только о твоих интересах, чтобы добиться независимости там, где это действительно важно. Мама не предвидела, что ее будут уговаривать окунуться в море в одной сорочке и панталонах или выйти во двор посреди ночи в ночной рубашке. Она переворачивается на бок, ловко встает — так, чтобы подол не задрался выше лодыжек.

— Подай мне накидку, — говорит она.

\* \* \*

Я перестану все это замечать, думает она. По этой дороге я буду ходить каждый день и не буду видеть, какие деревья высокие, как сквозь листья каштанов пробивается небо. Не замечу кирпичного узора на дымоходе, который выложили расстаравшиеся строители,

не увижу желтой лепнины на колоннах, каменных ананасов на воротных столбах. Этот фонарь ночью будет светить в окно нашей спальни, а изгородь с годами разрастется так, что за глицинией не будет видно шпалер. Экипаж останавливается, и клевавший носом Альфред вскидывает голову.

– Добро пожаловать домой, – говорит он.

Она вылезает из экипажа, не дожидаясь, пока кто-нибудь подаст ей руку, распахивает кованую калитку, идет, хрустя гравием, к парадной двери. Ключа у нее нет. Ее так и тянет толкнуть дверь, дергать за ручку, пока та не поддастся. Альфред еще расплачивается с кучером. Она заворачивает за угол, где меж двух эркерных окон – столовой и гостиной – находится зимний сад. Альфред так и не успел переделать витражные панели над окнами. Она знает, что и эта дверь на замке, она и должна быть на замке, но все равно ее толкает, а затем идет дальше, к черному ходу, мимо высоких кухонных окон. Дверь покрасили в темно-зеленый, оттенок ей не нравится, и здесь тоже заперто. Позади слышится хруст гравия.

– Лучше ключом, – говорит он, протягивая ей ключ. – Это от парадной. Остальные в доме.

Она берет ключ, обгоняет Альфреда, проходит меж живых изгородей обратно – на выложенное плиткой крыльцо. Оно шире, чем крыльцо у нее дома, здесь поместятся несколько человек с зонтами или, прикидывает она, смогут встать рядом две женщины в кринолинах. Ключ не поворачивается. У нее дрожат руки. Не надо ей помогать. Он стоит на ступеньках, у нее за спиной. Она входит в дом под бряцанье медного дверного молотка.

Оказавшись в квадратном холле с тиковыми полами, пружинистыми, как сказал строитель, для танцев – хотя танцевать тут негде, – она останавливается. Вокруг ждут своего часа пустые комнаты. Ждут, когда начнется их жизнь. Здесь были строители, думает она, они ели сэндвичи из бумажных пакетиков и пили пиво у меня в гостиной, ходили вверх-вниз по моей лестнице в пыльных



ботинках, насвистывали у меня в спальне. Только у Адама и Евы был по-настоящему новый дом.

— Можно войти? — спрашивает он, выглядывая из-за двери.

Она оборачивается:

— Прости. Это же твой дом. Но ты здесь часто бывал, а я видела его только однажды.

Он входит, решает, что, пожалуй, не надо брать ее за руку. Она отходит в сторону, идет в гостиную.

— О.

Разумеется, она знала, что эту комнату он уже велел покрасить и оклеить обоями. Все равно что в лесу заблудиться, в сумеречном осеннем лесу. Теснятся пожухлые лозы, тянутся, извиваются их бледные усики, и просветы меж темных листьев складываются для нее в какое-то подобие глаз, вытянутых носов. Картинные рейки — как же можно вешать картины на таких-то обоях? — буро-коричневые, будто сырая глина, ни в одном доме она прежде не видела такого цвета, и стены над ними — еще темнее, словно торф, словно разверстая могила. Даже потолок тут цветной, цвета лужи на грязной дороге.

Он подходит к ней.

— Над шторами я еще работаю, — говорит он. — Нравится?

В окне искрится залитый солнцем сад, его зелень слишком пестрая, слишком яркая для этой подземельной комнаты.

— Здесь довольно темно, — говорит она. — Даже в июле.

— Зимой растопим камин. Зажжем свечи, повесим бархатные шторы.

И будем себя чувствовать, думает она, будто лисы в подлеске, только вот лисьи норы не служат им еще и витринами.

— Тебе не нравится.

Он ее муж. Это ее дом. Может быть, со временем он научится — она его научит — ценить более простую жизнь.

— Я к такому не привыкла, — отвечает она. — Сам знаешь, какие простые у мамы вкусы. Я не приучена разбираться в такой

пышности. Такой броскости.

(Он тянется к ее руке.) Покажи мне столовую.

\* \* \*

Он смотрит на нее – она идет впереди, вскинув голову, покоряясь неизбежному.

– Дорогая, ты же знаешь, это моя работа. Наше пропитание.

Она останавливается в потоке солнечного света, у эркерного окна. Там стоит его стол, сделанный из древесины рухнувшего пять лет назад грецкого ореха, которую сберег для него отец. Столяр из него не блестящий, он и сам это знает, но старшина в мастерской помог ему с пазами. Никаких львиных лап, никаких будто искривленных рахитом ножек, он только – памятуя о задуманных им обоях с жимолостью – вырезал на одной из двух подстольных опор цветок и пчелу, что-то вроде подписи. Стульев пока нет, ни одного.

Она делает вдох, движутся плечи, она хочет что-то сказать, умолкает, опускает руку на блестящую столешницу. Пробует снова.

– Этот мне нравится. Он попроще. Удобнее.

Она может представить, как шьет здесь или читает, не чувствуя себя будто на сцене. На стенах бледный яблоневый цвет, листья и ветви, и в каждом узоре дважды по маленькой коричневой птичке.

– Когда обставим комнату, это приглушит обои, – говорит он. – И я думал на лето вешать здесь муслиновые занавески, а на зиму, наверное, бархатные шторы цвета листвы.

– Да, – говорит она. – Да, Альфред, я согласна.

Она подходит к нему, дотрагивается до пиджака.

– И мне понравилась твоя пчела, твоя пчела-работница. А полог для кровати уже привезли?

Они поднимаются по голым ступеням, ее юбки задевают колосья балясин. На столбцах перил резные желуди.

\* \* \*

Возвращаться в клуб все равно что первый раз выйти из дома после болезни. Обручальное кольцо то и дело бросается в глаза, как ленточки, которые мама повязывала ей на руку. Она знает, что женщинам захочется послушать о ее медовом месяце. Она сворачивает во двор и не подносит к лицу платок, хотя в такую жару здесь пахнет еще хуже обычного. А люди живут здесь, дышат этим воздухом, пьют эту воду. Она вспоминает валлийские колокольчики.

— Лиззи!

Это Мэри, дожидается ее на крыльце вместе с другими женщинами. Черная юбка запылилась, лицо под соломенной шляпкой взмокшее, красное. Они обнимаются, щеки у Мэри прохладнее, чем у нее.

— Мама отпустила тебя одну?

Мэри берет ее за руку.

— Она меня привела. Она пошла в школу, а потом пойдет в больницу, к миссис Хейтер. Сказала, что до трех часов не вернется. Ох, Лиззи, как я по тебе скучаю. С мамой так трудно. Можно я буду жить с вами?

Элизабет гладит растрепавшуюся косичку Мэри.

— Нет, дружок. И ты сама знаешь почему. Но, если мама разрешит, можешь прийти к чаю. Альфред любит, когда у нас к чаю пироги и сэндвичи. А потом он проводит тебя домой.

Потому что у Элизабет и Альфреда полно работы. Потому что Мэри еще учится. Потому что папа будет слишком по ней скучать. Но в основном потому что мама этого не допустит, потому что мама с Мэри еще не закончила.

Элизабет отпирает дверь.

— Входите же, — говорит она. — Миссис Браун, миссис Хэмпсон. Миссис Дженкин, как там малыш? А вы, миссис Мерфи, оправились ли от болезни? Простите, но вы очень похудели.

Мэри растапливает печь, наливает в чайники воду из бутылок, которые по распоряжению Элизабет доставляют сюда три раза в неделю. Она прекрасно знает, что попадает в реку.

– Садитесь, прошу вас. Миссис Мерфи, вот стул пониже.

Миссис Мерфи, которая накануне свадьбы Элизабет потеряла третьего ребенка, откидывается назад, прислоняет голову к деревянной спинке стула. Глаза у нее ввалились. Прежде она чинила всю свою одежду, но теперь сквозь прореху в юбке торчит голое колено. На ней мужские ботинки, один расшнурован, рыжие волосы сбились в колтун на затылке. Баюкающая младенца миссис Дженкин встречается взглядом с Элизабет, качает головой.

– Чаю, миссис Мерфи? Печенья?

Мэри выкладывает иголки, нитки, наперстки. Открывает ящики, где у них лежит раскроенная, готовая для шитья ткань – они шьют не верхнюю одежду, которую носят взрослые, с таким эти женщины не справятся, а детскую и еще нижнее белье, которое для пристойности куда важнее. Уличным женщинам зачастую нечего надеть под платье. Женщины из клуба, может, и ходят в обносках, но зато у них, по выражению Мэри, «солидные устои». Элизабет старается не думать о том, что некоторые ее солидные устои остались лежать под камнями на валлийском берегу. Она берет книгу с полочки под окном – «Проповеди для матерей». Если почитать им подольше, то на личные вопросы времени почти не останется.

– Мэри, найди банку для печенья, – говорит Элизабет. – Что же, миссис Дженкин, вы ничего не раскроили на прошлой неделе?

\* \* \*

– Так что, миссис Моберли, вы напишете учредителям?

Внутри что-то сжимается, болит. Может быть, все обойдется. Перед выходом из дома она проверять не стала, запретила себе, потому что проверяла и проснувшись, и после завтрака. От проверок ничего не изменится. Но теперь – она делает еще глоток чаю, – теперь ей действительно нужно в уборную. По крайней мере, разумно будет заглянуть туда перед выходом.

– Миссис Моберли?

– Да-да, конечно. Прошу прощения.

Все собравшиеся обмениваются улыбками. Новоиспеченная жена с новоиспеченным именем. Пусть так и думают. Она ерзает. Кажется, потекло? У нее побаливает грудь. Прошла всего-то неделя. Или две. Человеческое тело ведь не железнодорожные часы. У нее и раньше бывали задержки.

Нет, снова проверять она не станет, проверит, когда ей и вправду придется выйти по нужде. Новый тротуар к осени замостили плиткой. Если она ни разу не наступит в зазор между плитками, нет, если она наступит в каждый зазор. Если успеет досчитать до двадцати, прежде чем мимо проедет телега. Предстоят расходы. Оплатить врача, наверное, поможет папа, дома на чердаке лежит старая колыбелька Мэри, а уж до чего они с Мэри поднаторели в шитье одежды для младенцев, но ведь им придется – придется ведь? – нанять служанку-сиделку<sup>[3]</sup>. А еще приданое для новорожденного и какая-то мебель для служанки. И для детской. Глупо говорить, что ребенок им не по средствам. Доходы Альфреда в десять раз выше, чем у самых зажиточных семей в ее клубе, а там почти в каждой не меньше четверых детей. Но она не понимает, сейчас не понимает, откуда эти средства возьмутся.

Можно сесть на омнибус, но это стоит денег. Она пойдет пешком. Она переходит дорогу, отвечает на приветствие дворника. Мама всегда говорила, что женщины сгущают краски, говоря о родах, как солдаты, у которых байки при каждом пересказе обрастают новыми подробностями. Они не приучены себя контролировать, говорит она, ну и разумеется, им не обеспечен должный уход. Позволь мы себе при каждом удобном случае кричать и плакать, то убедили бы и себя, и окружающих в том, что наше положение невыносимо; мы так себя не ведем, если ошпарили руку, – Мэри тогда как раз ошпарила руку и разрыдалась – и мы так себя не ведем, если нам нездоровится. У бедных женщин нет твоего воспитания и твоей самодисциплины, а богатых женщин приучили считать себя хрупкими, болезненными существами, которые не могут встать с

кресла, не подвергая себя опасности. Если ты окажешься в положении, Элизабет, живи, как и жила раньше, уделяй моциону столько же времени, сколько и обычно, питайся как можно умереннее, и тогда, я уверена, тебе, как и мне, это не причинит никаких неудобств, которых рациональный человек не смог бы вынести. Большинство женщин, привыкших трудиться на свежем воздухе, чье здоровье не подорвано ни городом с городской едой, ни роскошью и бездельем, переносят это время без особых страданий, и дети у них почти всегда рождаются здоровыми и крепкими.

У нее стерты ноги. Когда она придет домой, то, может быть, заварит чаю и посидит в саду, всего пару минут. Кажется, у нее не такой рациональный ум, как у мамы.

\* \* \*

Он, как обычно, просыпается на рассвете. В их спальне по-прежнему нет штор, он подготовил эскизы – как полог, только чуть посветлее, – но признает, что пройдет время, пройдут месяцы, прежде чем ему удастся их заказать. Мама предлагает их старые шторы, говорит Элизабет, но он не доверяет временным решениям, он слишком часто видел, как клиенты оставляли картины повисеть пока что, пока они не дойдут до багетчика, и три года спустя эти картины висели на тех же местах и в тех же уродливых рамах. Если он разрешит Элизабет повесить этот ситчик, то будет смотреть на него каждое утро всю оставшуюся жизнь.

Листья на буках начинают желтеть, вертеться в такт шелесту ветра. Пусть кто-нибудь потом сгребет их с лужайки, не то осенью они залепят ее всю, точно мокрая бумага. По его мнению, буки хорошо соседствуют с другими буками, а не с тщательно подстриженной травой и розовыми кустами. В их саду будет идти вечная битва за то, чтобы насадить человеческие представления о порядке в пространстве, которое, если его оставить в покое, скорее всего, снова станет непролазной чащей, лесом, что рос здесь когда-